

## Крута гора, а миновать нельзя О людях и книгах

[версия для печати](#) (66470)



*Немченко Гарий Леонтьевич* — прозаик, публицист, переводчик. Публикации в “ДН”: “Кавказский пояс” (№ 1, 2009).

Вечером на банкете в ресторанчике “Лимонадный Джо” — как бы чуть иронично стилизованном: винчестеры на стенах и официанты в ковбойских шляпах — мы с Эльбердом Мальбаховым сидели вдали от “уважаемых старших” и от оч-чень больших начальников — чуть не в самом конце стола... На самом конце сидели танцоры в национальных костюмах, а когда прямо напротив нас расположились еще и музыканты в черкесках — с шичепшинэ, трещотками и гармошкой, Элик, чуть заикаясь, пошутил:

— Я д-думал, тут будут ребята с банджо, а оно — вон, опять наши!

Ох, Элик-Элик!

Утром я сперва даже не узнал его в зале, где происходила “презентация” книги “Война длиною в жизнь”<sup>1</sup>. (Уточню сразу: происходило это пару лет назад, в Нальчике, где после выхода книги в свет собрался весь цвет писателей Северного Кавказа. Там-то я и встретил Элика, с которым мы не виделись много лет.)

Так вот он какой теперь... Более чем скромно одетый, но явно не придающий этому факту значения — на нем была порядком заношенная темносерая тройка из джинсы, брюки, рубаша, жилет со множеством кармашков — тот самый удобный наряд, какой все не решусь надеть у себя в Кобякове под Звенигородом, чтобы в переполненной электричке ехать в этом в Москву — так вот, скромно одетый хмурый пожилой горец с резкими и печальными чертами, носящими явные следы былой красоты и былого мужества... Или мужество былым быть не может?

Заметно было, что он уже “взял на грудь” стопку-другую, чтобы почувствовать себя уверенней, но уверенности в нем как раз и не было — когда, крепко пообнимавшись и поосыпав друг дружку радостными восклицаниями, уселись в зале в середине первого ряда, чуть ли не наотрез потом отказывался вместе подниматься на сцену...

Но когда мы уже сидели плечом к плечу во втором, само собою, ряду президиума — и тут как опытные “заднескамеечники”, и тут — и я держал в руках только что отданный мне его однотомник с трогательною “дарственной”, Элик стал постепенно отходить... или как раз — п р и х о д и т ь? В себя.

На собственном портрете, снятом на самом пике времен между уходящей молодостью и наступившей зрелостью, Элик пририсовал чернилами сердце, пробитое гусиным пером с моей фамилией, а на страничке рядом написал: “Дружище Гари! Моя память крепка и благодарна, чувства искренни и полны...”

Но хватит, хватит. Мы ведь, что там ни говори, кавказцы. “Мужчины черные”, несмотря на седину. “Железноглазые”.

Потом-то я уже понял, что он переживал: как встретимся? Сохранилось ли между нами то студенческое чувство братства, которым — как хорошо я это понял потом! — он так бескомпромиссно и так трепетно дорожил...

— Это мой внук, — кивнул на молодого телевизионного оператора, высокого и чуть полноватого, снимавшего сперва зал, а потом и президиум.

Я шутливо возмутился:

— Так что же он снимает других, а не нас с тобой? Разве ты его не предупредил?!

— Он на р-работе, — мягко ответил Элик.

Жена его, Галя, умерла лет, пожалуй, пятнадцать назад, он так и жил вдовцом в двухкомнатной квартире, где ждала его только постаревшая собака, с какой самоотверженной радостью она потом бросалась на нас — от одного к другому, когда глубокой ночью мы заехали к Элику за картиной, которую он с предусмотрительной надеждой уже подписал для меня на обороте холста...

Недаром говорится, что талантливый человек во всем талантлив: теперь он занимался еще и живописью и, как бы предупреждая возможное мое критическое восприятие этого его увлечения, сказал, явно волнуясь:

— Наши художники относятся к моим работам серьезно, поверь.

Да почему же мне было не верить, если пейзаж был написан не только профессионально — написан мастерски... Или брал свое еще и дорогой нам обоим сюжет?

— С порога отцовского дома в моей Отрадной видать было только далекую верхушку Эльбруса, а тут он во всей красе, О ш х о м а х о 2.

— Будешь в Москве родину вспоминать! — сказал Элик растроганно. — А з-заодно и автора...

Нам-то и сейчас было что вспомнить. И факультет наш. И — целину... И еще много-много чего, что соединяло нас не один десяток лет.

После института мы с Эликом друг для друга надолго потерялись. Я уехал на юг Западной Сибири, больше десятка лет жил в рабочем поселке под Новокузнецком и писал длинные пр-р-ролетарские романы о своей “ударной комсомольской стройке Запсиба”, правда, к чести своей должен сказать, что главный герой первого из них, “Здравствуй, Галочкин!”, не был комсомольцем, даже как бы наоборот — был в конфликте с застывшими ему свет “маяками”, а секретарь парткома был порядочное дерьмо: прототип его достаточно долго портил мне потом жизнь, постоянно вычеркивал из списков на награды и устроил потом настоящую охоту на меня, когда я опубликовал остро-критический очерк “Новый город на земле”. О горьких бедах сибирских новостроек, о просчетах Москвы в планировании и снабжении, о пренебрежении вольным духом, который у нас тогда держался, о предательстве тех, кто позвал нас на “передний край”, а сам остался в благополучной “белокаменной”... Как ни удивительно, это определение — “предательство” —

поселилось в моих текстах задолго до того, как по отношению к собственному народу оно случилось.

...Элик сперва поехал работать на родину, в Кабарду, и, по слухам, если не очень преуспевал там, то во всяком случае под крылом-то родительским не бедствовал, но потом вдруг выкинул вроде бы неожиданный фортель: отправился собственным корреспондентом “Известий” в Омск...

Были конечно же на это свои причины, убежден — не простые, но у меня, когда теперь все заново взвесил, появилась на сей счет своя особая версия.

В сентябре 57-го, когда наш состав, стремительно мчавшийся на Алтай, куда нас послали помогать “собирать урожай”, на часок задержался в Омске, наша компания четверокурсников “схватила” на вокзале такси и отправилась взглянуть на центр города. Молодость стремительна, это ясно, и нам тогда вполне хватило и пары взглядов да тройки реплик, чтобы вынести свой конечно же безжалостный приговор: тут ловить нечего. Договорились мы “зубами уцепиться за Кремль”? Договорились. Этого пока и будем держаться.

Где-то на краю перрона стояла дощаная будка, в которой располагался тир. Около стойки с духовыми ружьями я натолкнулся на Элика.

— А, Князь! Постреляем?

Он посмотрел на меня так, будто хотел спросить: а как нажимать на курок, мол, знаешь?

Может быть, покровитель мужчин и путников адыгский бог Зекотха заметил этот уничижительный взгляд Князя и решил предупредить его об излишней в том нашем возрасте самоуверенности?... Может быть, он уже полунасмешливо приглядывался ко мне?... Или дело в другом?

Стрелок я вообще-то никакой, известный в родной Отрадной м а з и л о, но так как дружки мои после всякого неудачного выстрела громким криком об этом всюду напоминали, то, может быть, на их возгласы однажды явился, а после стал присматриваться ко мне и нет-нет, да и помогать, потом уже — и в Сибири, известный каждому адыгу М а з и т х а — бог лесов, покровитель охотников.

Тогда он, во всяком случае, решил мне помочь, а заодно, не сомневаюсь, и Элика подзадорить: не успокаивайся, мол, не думай о себе, как о первом на Кавказе стрелке!

Потом уже Элик, и в самом деле, стал лучшим стрелком в Кабарде, к этому, Бог даст, еще вернемся, но тогда, на перроне в Омске, я Элика “перестрелял” прямо-таки безжалостно...

Может, потому-то он потом в Омск и вернулся: как бы реванш взять? На том же месте...

Вот, пошучиваю. А ему тогда, убежден, было совсем не до шуток.

Строгое следование отца нормам “коммунистической морали”, помноженное на никогда не умиравший в душе “адыге хабзэ”, горский кодекс чести, — разве это не слишком? Когда тебе тридцать-сорок и в тебе уже всюю проявилось, прямо-таки кипит и не дает жить спокойно творческое начало, которое сделает тебя потом одним из лучших на Кавказе писателей.

Но все это опять же — потом.

А тогда он приехал в Москву проведать лежавшего в “кремлевке” отца, который в то время был, ни много ни мало, первым секретарем Кабардино-Балкарского областного комитета КПСС. Уходя, оставил ему только что законченную рукопись романа “Страшен путь на Ошхомахо” — Тимбора Кубатиевич стал первым его читателем.

— Ну, и кто, только честно скажи, помогал тебе? — строго спросил он сына, когда через несколько дней тот снова появился в палате.

— Честно? — переспросил Эльберд.

— Совершенно искренне. Я пойму.

— Пожалуйста, пойми, — попросил Элик. — А помогали мне граф Алексей Николаевич Толстой и Чарльз Диккенс. Иногда, правда, захаживал другой англичанин: Вальтер Скотт.

— Иногда? — не согласился отец, но в голосе у него послышалось облегчение. — Судя по всему, он у тебя гостил довольно часто!

Элику пришлось скромно согласиться:

— Пожалуй, так.

— Что ж, у тебя были хорошие помощники, и ты их, кажется, не подвел, — подобрел отец. Но — только на мгновение. И снова переменил тон на строгий. — А какой псевдоним ты возьмешь себе, сын?

Так в палате “кремлевки” родился новый писатель, ничего общего не имеющий с влиятельным вождем кабардинских коммунистов: М. Эльберд...

А вот о том, что случилось позже, я забыл. Но Элик напомнил:

— Ты прочитал роман и, кажется, даже похвалил его... Пообещал сделать все, чтобы тираж был двести тысяч, а потом вдруг звонишь мне: “Должен перед тобой извиниться, Элик...”. У меня руки опустились: “Не пойдет?.. Роман?”. — “Да нет, — говоришь, — он уже в печати, но тираж будет — только сто пятьдесят тысяч...”.

Сравните с нашими временами, когда мы рады тиражу в одну тысячу вместо обычных пятисот экземпляров!.. И все-таки в конце книги, когда Элик получил ее, значилось: двести тысяч.

Пробил-таки аз многогрешный, пробил обещанный тираж... Как славно, что было именно так. Как славно, что Элик, выходит, никогда об этом не забывал. И как хорошо, что забыл я.

Но зато, как всякий съевший в своем деле собаку профессионал, я прекрасно помню ощущение новизны и свежести прозы Элика: часто ироничной, иногда авантюрной, но всегда исторически выверенной, глубокой, а главное — озаренной неугасимым светом сыновней любви к родным северокавказским краям с их тысячелетними устоями, традицией и обычаем, с их удивительными мифами и легендами.

Вернувшись из Нальчика, я конечно же перечитал и первый роман Элика, вышедший тогда у нас в “Советском писателе”, и второй: “Ищи, где не прятал”. И долго, конечно же очень долго — работа эта из-за кочевой моей жизни не раз прерывалась — размышлял и о своем друге, и о его полной превратности судьбы, и о том несомненном, но так до сих пор и не оцененном по достоинству вкладе, который он внес не только в кабардинскую литературу, но и в северокавказскую вообще и — в русскую.

Сейчас прозу Эльберда Мальбахова обозначили бы модным словом “прорыв”.

И новизна ее, на мой взгляд, и обаяние заключены в том, что ему одному из первых в России того времени, а на Северном Кавказе — и вообще первому, удалось преодолеть ту привычную отстраненность, которая всегда существовала между “небожителем”-писателем и обитающей на грешной земле читающей публикой, внести в отношения между ними не только простосердечие и доверительность, но — сокровенность.

Может быть, дело в писательской интонации, идущей от богатства души? От невольного ощущения читателем незаурядности автора, человека высокообразованного, более того — утонченного, но, может быть, именно оттого-то и сознающего, что сам он — всего лишь малая частица великого целого: своего истрадававшегося народа. Отсюда и это сокращение дистанции: до протянутой для дружеского пожатья руки. До братского, плечом к плечу, крепкого объятия.

Люблю и ценю великолепные книги, созданные старшими, нашими предшественниками. И вместе с тем настаиваю на том, что М. Эльберд — Мальбахов Эльберд Тимборович — в прозе Северного Кавказа сказал новое слово: и веское, и высокое. Именно с него началась смена поколений прозаиков, он в этом смысле патриарх, за которым потом, сознательно или нет, последовали многие. Однако творчество его, пик которого совпал со сломом времен, тоже “до сих пор не получило должного резонанса”.

Вспомним-ка: в свое время роман “Страшен путь на Ошхомахо” чуть не в одночасье стал культовым. О нем говорили, за ним гонялись, его цитировали.

— Ты, конечно, не знаешь, но грузины собирались поставить по нему десятисерийный фильм, — рассказывал, печально посмеиваясь, Элик, когда сидели рядышком в “Лимонадном Джо”. — Вот тут у меня в кармане лежало приглашение и договор, который я должен был подписать... И мы уже договорились со старым другом — вот он кивает нам, видишь?.. Что поедем в Тбилиси на его машине и жить будем у нашего общего товарища. Я уже стал собирать гомыль нам на дорогу и кое-что запастись на хлеб-соль. Не с пустыми же руками появляться кабардинцам перед уважаемыми соседями!..

Как будто переживая все заново, Элик надолго замолчал, пришлось спросить: и чем, в конце-то концов, дело кончилось?

— Все обвалилось. И у м-меня тоже. Стало не до жиру, как говорится: быть бы живу. Будем у меня, увидишь голые стены. Там раньше висели мои ружья. Я ведь тогда, и правда, стал чуть не профессиональным стрелком. Когда в республику приезжали важные гости, егеря первым делом меня находили: станешь на номер?.. Кто-то из охотников в отпуске, кто-то приболел или загулял... мало ли! Знали: если буду с-стрелять, без дичи не останемся. Иногда после выстрела тут же уходил: чтобы не встречаться с отцом. Есть кабан? Есть. Косуля есть?.. Иногда, правда, когда бывал в добром настроении, он передавал через егерей: пусть, мол, не валяет дурака. Пусть остается на общий ужин...

У меня невольно вырвалось:

— Элик!.. Знаешь, ты кто? Не знаешь?!.. А я, пожалуй, стану добиваться для тебя статуса жертвы политических репрессий. В том числе и со стороны собственного родителя...

— Шути-шуты...

— Но разве это не так?

— В каком-то смысле — конечно. Он был настоящий, ты знаешь... таких тогда было не так много, я ведь в-видел...

— А то у нас любой спекулянт имеет теперь статус жертвы политических репрессий, а тут — чего тут неясного? Тогда — собственный отец. Теперь — его недруги...

— Ружья продавать пришлось, жалко, — печально сказал Элик. — Чехословацкий карабин, семь миллиметров, как он бил! Французский “меферт”, еще довоенный, шестнадцатого калибра — точность невероятная. Пятизарядный помповый “ремингтон” двенадцатого калибра... А “винчестер”!

— Это не он там висит? — кивнул я на противоположную стену.

И он вздохнул:

— Я не п-подхожу, не хочу расстраиваться. Может, и действительно, — м-мой?

Отвернулся и пальцами взялся за подбородок: не то чтобы не подойти, показалось мне, — чтобы лишний раз не взглянуть...

Наговорились за все годы разлуки. Элик так и подвел итог:

— Хорошо, теперь хоть с тобой поговорили да все припомнили!

Еще бы не хорошо, а-ей! Или — ха-хай?

Как бы сказал в этом случае настоящий черкес, а не такой как я? П р и п и с н о й. Которому всего лишь пару часов назад вручили малиновую папку, на титуле которой — скачущий на своем мифическом коне, на Тхожее, нарт Сосруко с факелом вместо меча в руке и с надписью над ним на адыгском: “Дунейпсо Адыгее Хасэ”. А внутри-то что! Как тут не похвалиться...

Известное дело, что казаки — такие же хвастуны, как многие, а может, и все остальные насельники Северного Кавказа, и неизвестно, кто у кого это не украшающее любого джигита качество перенял... Но как тут, и действительно, не сообщить этот драгоценный хабар, эту прямо-таки сенсационную новость, если случай ну, как будто сам этого требует?

“Международная черкесская ассоциация награждает почетной грамотой Г.Л.Н., талантливого писателя и переводчика, за пропаганду и содействие в развитии духовных традиций, культуры и литературы адыгского народа, за деятельность, направленную на духовное сближение народов Российской Федерации.” И — подпись: “Президент Международной черкесской ассоциации Касполат Дзамихов”.

А?! Каково? Но в том-то и штука, что я не стал бы ничего такого рассказывать, если бы грамота только мне и предназначалась... да нет, братцы, нет! Заслужили эту грамоту не только каждый из писателей, чьи рассказы вошли в книгу, но и сразу оценивший сборник умный редактор издательства, и принявшие его сердцем пожилые, старой школы, корректорши, буквально “вылизывавшие” понравившиеся им тексты моих разноплеменных коллег, и даже с утра нетрезвые грузчики, ронявшие пепел от сигарет на тяжеленные пачки с книгами — да все, все!

В ресторанчике “Лимонадный Джо”, когда только вошли туда, я попросил курносых девчат в ковбойских шляпах на время положить эту грамоту в какое-нибудь надежное местечко, а когда в конце щедрой, истинно кавказской хлеба-соли мне их вернули, определил папку под мышку.

Но ведь недаром мой старший друг Аскер Евтых, самый серьезный и самый многострадальный писатель адыгского мира, печально посмеиваясь, говорил мне: когда, мол, *наши* дважды, на обе стороны, трогательно прикладываются друг к дружке, на самом деле рукою на чужих боках ищут: нет ли с собой оружия...

Может быть, он, закоренелый при жизни атеист и пересмешник, может быть, он, дорогой мне б е з б о ж н и к, все-таки поглядывал на этот, будь он неладен, “Лимонадный Джо” из нынешних своих райских далей? Слова-то его получили забавное подтверждение.

На прощанье владелец ресторанчика дружески обнял меня и вдруг, нащупав под ладонью нечто твердое, с полунасмешливым одобреньем шепнул мне на ухо:

— Кобура?

— Где там! — рассмеялся я. — Вот!

И продемонстрировал ему свою черкесскую грамоту. Разве, опять же, это не было как бы вполне законной причиной ее обнародовать?

И в хозяине “Лимонадного Джо” проснулся адыгский джигит:

— Доброе дело — мардж!..

А я попробовал полшуткой развить затронутую было им тему:

— Правду ли говорят, что этот документ дает право носить оружие, а?

Лицо у него вдруг сделалось строгое, сказал значительно:

— Только Он дает такое право! — и не только посмотрел в ночное небо, но и слегка приподнял обе ладони. — И носить, и применять оружие — только Он разрешает!

Жаль, конечно, размышляю еще и сейчас, очень жаль, что Он при этом не подтверждает свое разрешение хоть какою-нибудь бумагой, каким-то видимым глазу знаком... Скорее всего, сообщает его очень древним, поистине дедовским способом: стремительным ускорением в каждом из нас тока крови...

Но поди потом разберись, когда в результате проливается чужая кровь!

Тем более тут. На Кавказе.

Утром в книжном магазине увидел поэта Юруслана Болатова, балкарца, с которым познакомились два года назад на заседании “круглого стола”, устроенного журналом “Дружба народов” в Железноводске. Как нарочно, думал о нем накануне, когда перед поездкой перебирал в Майкопе визитки. Не мы, но Бог устраивает встречи: дело в наших краях известное...

Узнал его, назвал по имени, оба обрадовались, но почти тут же он с деликатным укором начал:

— Мне пришлось вести передачу о вашем сборнике на кабардинском телевидении и я очень хвалил его, но книжку перед камерой показывал так, чтобы не видно было названия...

И я только горько вздохнул: ну, еще бы! “Война длиною в жизнь”.

— Людям надоело само это слово “война”, вы понимаете? — мягко выговаривал мне Юруслан. — Дети от обложки с таким названием просто шарахаются!

В какой уже раз принялся оправдываться: книжка, мол, собиралась общими трудами, в разных концах. Все стекалось ко мне, как к составителю, и был момент, когда только я один уже знал ей цену, учуял, как старый охотничий пес, удачу, вцепился в добычу всеми еще оставшимися зубами и ни за что не хотел отпустить...

Но в договоре на сборник спрятана была, словно капкан, предательская строка: мол, в рекламных и коммерческих целях издательство имеет безоговорочное право на собственное название...

Коммерция и война. Всегда идут рядом?

И снова, снова права горькая поговорка Великой прошлой войны: “Кому война, а кому — мать родна...”. Так?

Пришлось мне во вступительной статье объясняться со своими собратьями по перу и с будущим нашим общим Читателем. Может быть, люди добрые меня все-таки поняли?

До этой п р е з е н т а ц и и (не люблю этого слова, не хотел его произносить, а как нынче без него обойдешься — ох, “Лимонадный Джо”, твое влияние!) в Нальчике с чеченским писателем Эльбрусом Минкайловым, вошедшим в сборник с двумя глубокими и печальными рассказами, мы не встречались, но тут вдруг, только взглянув друг на друга, как старые товарищи, как соратники, обнялись, и, выступая потом перед залом, он горячо сказал:

— Сперва опасался, что этот сборник — очередная попытка использовать кавказскую экзотику для приманки уже не один раз обманутого читателя, но, прочитавши, вижу: это наша боль. Это — свое.

Эти слова Эльбруса остались для меня не только такими же дорогими, но как бы и такими же ощутимыми, как и эта малиновая папка с нартом Сосруко на обложке: еще не поздно снова нам всем собраться вместе — еще не поздно!

Сам я, выступая прежде него, всего-то пересказал свой разговор в московском издательстве: Ольга Тучина, редактор, передала мне “сердечный привет” от читавших сборник корректорш... Говорят, мол, что давно уже не встречали такого чистого и такого изящного русского языка, спасибо!

Это, выходит, что же?

Издательство-то — крупнейшее в России, на долю которого приходится одна пятая всех выпускаемых в стране книг, и что вдруг радуется его корректоров? Что, как Ольга передала, их “потрясло”? Чистый русский язык л и ц к а в к а з с к о й н а ц и о н а л ь н о с т и.

Ничего себе пироги! Это в Белокаменной-то! “В центре всего передового и прогрессивного”, как мы еще недавно говорили... Ну, не дожили?!

Само собой, что над многими рассказами потрудились опытные, старой школы, переводчики... Но ведь большинство рассказов на русском написано, да — как, как!

Эти средних лет и чуть помоложе кабардинские “мудрецы”, гордясь собою и, разумеется, прихвастывая, даже особый термин для прозы своей придумали: “нальчикский понт”. Но ведь есть у них для этого основания, есть!

А мои ровесники?

Осетин Руслан Тотров прислал не только собственный великолепный рассказ, но и свои переводы земляка из Южной Осетии, Алеша Гучмазты, погибшего “в 1992 г. во время грузино-осетинской войны” — в конце сборника в биографической его справке так и написано. А тот же Эльбрус Минкайлов, уже знакомый теперь нам чеченец? “Перевел на русский язык повести и рассказы А.Айдамирова, А.Мамакаева, М.Бексултанова, М.Ахмадова, М.Мутаева и других” — тоже взято из биографической справки. А кабардинец М.Эльберд — Элик, Эльберд Мальбахов?.. Его печальные и тонкие, написанные на русском рассказы из “Воспоминаний охотничьей собаки” так и хочется назвать “чеховскими”, а ведь он еще очень достойно переложил явно сложный для перевода сюжет балкарца Эльдара Гуртуева “Смехотворная драма” и совсем уж блестяще — “Конокрада” Сараби Мафедзева, ставшего украшением сборника... или нельзя так?

Потому что как в таком случае говорить и об аварце Газимагомед Галбацове с его “Сонетом”, и снова о кабардинцах — о главном моем беззаветном и бескорыстном помощнике Тенгизе Адыгове, не только давшем в сборник свои полные глубокой поэзии философские “Диалоги”, но и открывшем для меня творчество младшего своего земляка Амира Макоева, которого я теперь при каждом удобном случае откровенно и чуть не торжественно “пропагандирую”: достоин!

Так как же это все, с чистым, неиспорченным русским языком-то, понять?

В Москве чуть не начисто исчез, а тут вдруг, на Северном Кавказе, как вырвавшийся на волю горный родник щедро проявился?

Или — не вдруг?

И многое мне стало в те дни приоткрываться, и чуть ли не мистическим образом в единую картину складываться...

Разве этого нельзя было ожидать?

Когда началось это самое “возрождение”, чуть ли тут же сделалось ясно, какая опасность нависла над Русским Духом, много лет скреплявшим страну куда прочнее “бессмертного учения”. Наблюдая за стремительным разрушением наших нравственных ценностей, не раз тогда думал: а погодите-ка, ребятки!.. Уж Северный Кавказ-то с его кровной приверженностью тысячелетним горским традициям вам будет явно не по зубам.

Кавказ — был я тогда прямо-таки яростно убежден — общая наша крепость. В ней укроемся, как старинные насельники в минуту опасности укрывались в горах, в ней, в этой крепости, сохраним характер и волю. Мы ведь не только всю жизнь дрались: братались шашками. Но не было ли такого, чтобы Россия заслоняла Кавказ в годину горя?

Теперь настал черед горцев: их час!

Как раз в это время умерла в Москве жена Аскера Евтыха Валентина Николаевна, его Валечка, которую он так трогательно, так беззаветно любил, и я для себя ввел правило: звонить своему старшему другу ежедневно, хоть недолгой беседой, да отвлекать его от горьких дум, скрашивать одиночество. Сколько мы с ним тогда переговорили о надвинувшейся на всех на нас г р о з н о й беде... Аукнулось пугавшее когда-то округу название русской крепости — как беспощадно-громко аукнулось!

Только потом уже пришло ко мне запоздалое понимание, с какими двумя великими горцами дружил тогда: вторым был всемирно известный наездник, народный артист СССР Ирбек Кантемиров. Его только что избрали главой многочисленной в Москве осетинской диаспоры. К шлейфу тянувшихся за ним особенно трудных в те годы собственных хлопот и забот, бытовых да семейных, прибавилась теперь эта и до того бывшая для него всегда главной — забота о духовном облике земляков, о соответствии их тому рыцарскому образу, о котором так много было ими самими во все последние годы громко говорено...

Однажды на московской улице, когда подошла наша с ним очередь занять подкатившее такси, нас опередил молодой бойкий кавказец. Я тоже взялся за ручку передней двери и кивнул на стоявшего неподалеку Ирбека:

— Постыдился бы старшего!

— Наверно, он и дома, на Кавказе, так поступает, — с дружелюбной и будто извиняющей парня усмешкой проговорил Ирбек.

Но у того вдруг вырвалось:

— Здесь не Кавказ!.. Если я тут в Москве начну...

— Начни! — очень твердо сказал мой друг. — Непременно — начни... Не знаю, кто твой отец, но мой всегда говорил: не стесняйся поступать по высокому горскому обычаю — тогда Москва и о своем обычае вспомнит!

Об этом я уже писал: как мы с ним вроде и в шутку, и очень всерьез условились блюсти в столице, несмотря ни на что, горский этикет...

Но “Лимонадный-то Джо” оказался куда хитрей и проворней нашего насквозь проспиртованного Вани. Потому-то все с Кавказа и началось? Как и вся остальная Россия, этот самобытный край оказался не готов к “нейлоновой войне”, к изобилию заморских товаров, к испытанию тем самым, что сами западные социологи давно называют: “потреблятьство”. А с этим пришли и все остальные прелести “свободного мира”.

И кавказская крепость тоже не устояла...

В прошлом году ранним летом ехал я привычным рейсом междугородного автобуса “Краснодар—Майкоп”. Адыгеец-водитель то и дело останавливал, чтобы подвезти голосующих на обочине аульских земляков, в основном женщин средних лет да молодежь, которая обычно толпилась потом в проходе.

Но вот вошли двое, как будто символизирующие весну и осень этой щедрой земли: сияющая юная внучка и строгая бабушка в очень уважаемом возрасте.

На передние ряды бабушка глянула, как глядит, может быть, самый большой начальник из комитета “Антитеррор”: чрезвычайно сурово и вместе с тем беспомощно. Причина этого тут же явилась: в виде голого пупка полураздетой внучки. Бабушка сперва, пожалуй, хотела пропустить внучку подальше внутрь, но что-то там вдруг насторожило ее, опытным сердцем почуяла опасность и снова подтолкнула ее вперед, повернулась ко всем спиной и как будто нахохлилась над неразумной девчонкой, защищая ее от посторонних взглядов.

Но этого ей показалось мало: одной рукой держась за спинку сиденья рядом, растопыренной ладонью другой она взялась заботливо прикрывать открытую полоску тела на пояснице у внучки... а-енасын!

Куда там посмеиваться — я чуть не плакал. Разделяю твою боль, милая зиусхан! Как тебе сочувствую, поверь... Но разве хватит теперь наших ладоней, чтобы прикрыть весь тот позор, который не тут начинался, но — в бесстыжей Москве.

И, может быть, только это еще и осталось живо: так и не сломавшаяся в смутные времена, давно объединившая нас русская речь.

Как тут снова не вспомнить известное: в начале было Слово...

И в начале давно назревшего возвращения к традиционным, тысячелетиями проверенным ценностям, — тоже Оно, вместе собравшее нас в Нальчике.

Сколько теперь на матушке-земле, разговаривая с нами, произносят: мол, давайте будем поступать ц и в и л и з о в а н н о. И думаешь с печалью: к чему призываете? О какой цивилизации говорите? О вашей, еще почти без корней, пиратской, разбойничьей или о той, какую тут никаким историческим ветрам согнуть не удалось: о к а в к а з с к о й ц и в и л и з а ц и и?

Вот почему в зимнем Нальчике мы с Эликом прямо-таки не могли от них отвязаться от воспоминаний о далекой юности. Только ли это была ностальгия по давно ушедшему времени? Чтобы вслед за сумрачным Ницше через столько лет повторить его знаменитое: “Это — остров могил. Тут погребены мечты моей юности”? Но только ли, только за этим?

Или — сквозь нынешний почти непроглядный туман подающие нам спасительный знак проблесковые огни той самой, с о в е т с к о й цивилизации, которую мы так по-воровски спешно похоронили — над нею еще прямо-таки ворочается земля, как ворочалась когда-то над заживо брошенными в могилу: в гражданскую.

В начале перестройки ее “прорабы” нам все талдычили про якобы рабскую нашу психологию, что было на самом деле подсознательным самовыражением тысячелетнего собственного их рабства...

А может, мне отчаянно повезло? Только теперь вижу его, рабство, почти повсюду, а тогда не приходило в голову: ни в студенческие годы, ни десяток лет потом на большой сибирской стройке, ни после — в “Советском писателе”, да нигде.

Н и к о г д а.

Дело вообще-то удивительное: и тогда нас звали вперед, в светлое будущее. И нынче. Теперь-то уже, и действительно, — в глобальное...

Не потому ли Элика и меня прорвало в Нальчике, что все последнее время утопаем в двуличии — и в России вообще и на Кавказе особенно, — и даже эта двуглавая птица, которая потому и двуглава, чтобы во все стороны видеть, достойно ли нам всем или не очень живется, и она уже постепенно сделалась символом высокого, если такое только может быть, г о с у д а р с т в е н н о г о двуличия, ну, прямо-таки со рвением подхваченного на всех уровнях — по всей вертикали власти...

И как у многих здесь, у меня рвется сердце: как быть?

Я русский, но плоть от плоти — кавказец. Недаром говорю о себе всегда, что тоже — “лицо кавказской национальности”.

И я, как, может, никто иной, сердцем, раненным любовью и к тем, и к другим, хорошо понимаю, как всех нас, когда искусно, а когда достаточно примитивно, разводят, чтобы постоянно держать ну, прямо-таки в необходимом кому-то напряжении — разводят, неизвестно кто больше, и свои, и чужие, да и сами мы, невольно поддаваясь минутным вспышкам, вроде бы добровольно и даже как бы с охотой подальше друг от дружки расходимся...

Что тут воскликнуть?

Черкесское “а-енасын” или что-нибудь из русского запретного лексикона?

Вернемся, однако, в “Лимонадный Джо”. Банкет наш между тем набирал и силу, и скорость, и там же все трудней и трудней удавалось и добиваться хотя бы относительной тишины, и сдерживать эмоции, подогреваемые то одной, то другой пылкой речью...

Уже произнесено было словосочетание “кавказский Нюрнберг”, который давно ждет и московских умельцев, и здешних, из доморощенных выскочек, политиков... Уже бросивший срочные дела в другом городе и примчавшийся в Нальчик известный в этих краях крупный предприниматель Валерий Хатажуков в деталях рассказал, что видел и что слышал во время последней встречи Дудаева с Черномырдиным, когда боевой, прошедший Афганистан генерал бесстрашно сказал якобы у меня, мол, нет выбора. Вы обещаете сохранить мне жизнь, но если соглашусь принять ее от вас, меня чуть ли не тут же лишат ее те, кто приехал со мной и в приемной ждет теперь результатов нашей

встречи... Безжалостная “коробочка”, выражаясь хоккейным либо футбольным термином, в смертельной для генерала, ставшего заложником трагических обстоятельств, игре.

Уже слегка приоткрыл тяжелую дверь, ведущую за кулисы большой политики, Сергей Александрович Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, финансировавшего издание книги, “виновницы торжества”:

— С Чечней все решили слова Клинтона, сказанные Ельцину в разговоре по телефону: мол, что вы там возитесь с этой крошечной республикой, кончайте с ней — а мы на это закроем глаза...

И скольким и в Чечне, и в самой России они тогда “закрыли глаза”? Навсегда. А скольким, если на то пошло, — вообще в мире?

Да почему, подумалось, всего-то “кавказский Нюрнберг”? Почему заодно — не “ближневосточный”, если уж не было “вьетнамского” и скольких после, скольких других?!

Уж если “назвался груздем”, если решил править всемирным балом, на котором теперь бравадные мелодии все чаще и все настойчивей сменяются похоронными — имей честь соответствовать!

Да только откуда она у них нынче, честь?

В Римском клубе о ней не говорят, на встречах “восьмерки” — тоже, среди показателей хоть нью-йоркской, а хоть токийской биржи она не значится...

Как не слышится и заботы о ней в разрекламированных в России национальных проектах, где имперские замашки так и остаются лишь амбициями здоровых телом, но слабых духом...

Как трогательно заботимся о бранных останках царской семьи и как накрепко забыли завет последнего Государя, не зря желавшего оставить престол наследнику, а самому уйти в патриархи: мол, промышленность создадим, экономику наладим, но удастся ли преодолеть пропасть открывшейся и среди аристократии, и среди простого народа безнравственности?..

Когда еще было сказано! Но мы, чего только теперь о себе не узнавшие, чего только о себе и мире вокруг не открывшие, по-прежнему предпочитаем мощному дубу — а то по брежневским орденам мы этого, что — дуб-то, не видали?! — змею, выбравшуюся из-под его упавшей колоды...

Ну, да — крута гора, а миновать нельзя. Тем более тут — на Кавказе.

Работая над этими заметками, уже в Майкопе, я вновь вернулся к этим дорогим для меня размышлениям и на мониторе компьютера нашел несколько прибереженных, впрок заготовленных строчек из “Царской любви” Любы Балаговой:

“Она воскресла в моей душе как Великий Ангел, позволяющий увидеть неисчерпаемую глубину духовного плана адыгов и дарящий бесконечную любовь ко всему русскому...”. “...и, возможно, оттого, что в мире когда-то была (а для меня есть и поныне) Гошаней или царица Мария, я ощущаю свою равную принадлежность как к кабардинскому, так и к

русскому народам. Осознаю свою духовную причастность к Кабарде точно так же, как и к Москве”.

Не отсюда ли и причастность к двум культурам, и раздвоенность Элика, и — его сердечная боль? Сердце мужчины открыто ей точно так же, как сердце женщины.

Может, оттого, кроме прочего, и тянемся с Эликом друг к другу, что эту же раздвоенность и эту боль он ощущает и во мне: ведь две культуры могут сблизать точно так же, как сблизают мать и отец и могут точно так же рвать сердце, когда они, хоть на короткое время, “не в ладах”...

“Ты-то тут при чем, казачок? — кто-то спросит. — Если русские на Кавказе — пришельцы, то ты теперь, живущий в Москве, — пришелец дважды!”

Бывает, в который раз принимаюсь рыться в старых записных книжках, чтобы найти давно затерявшуюся фразу из Киплинга, которого когда-то очень любил. Смысл ее примерно таков: если, мол, слишком близко к сердцу принимать чужие дела и пытаться жить по чужому обычаю, то можно настолько заиграться, что однажды проснешься аборигеном и не ищи тогда дорогу обратно...

А если предки твои жили в абазинском ауле и на этой земле в станице рядом родился? Если хранишь ее в своем сердце и даже в дальних краях с нею не расстаешься?

В юности у меня были такие стихи: “Мне родиться бы капитаном, чтобы шляться по дальним странам. Чтобы там, где бы только ни был, тосковать по родному небу. Чтоб о нем, от тоски, от жгучей, написать бы стихи получше”.

В “капитаны” меня не взяли по причине неподходящего для настоящего моремана зрения, с “дальними странами” тоже не очень-то получилось, но что касается тоски по родной земельке — этим я себя и впрямь обеспечил. Чего-чего, а уж ее-то было с лихвой! И, может быть, в последнее время — особенно?

Когда перечитывал “Страшен путь на Ошхомахо” уже после поездки в Нальчик и братской встречи с Эликом, выписал, не знаю зачем, несколько строк поближе к концу романа: “Где-то в эти годы уже шлепнулось на землю Ньютоново яблоко, и гениальный англичанин открыл закон всемирного тяготения. Людям от его открытия пока что не было ни холодно ни жарко. Они совсем другой закон ощутило чувствовали на своей шкуре: закон всемирного тяготения сильных мира сего к чужим землям и чужому добру”.

Из текста выделял это, пожалуй, как образец изящного эликова стиля, приправленного так свойственной ему печальной иронией. И только потом, когда и раз, другой наткнулся на этот горький посыл уже в записной своей книжке, вдруг подумал: это ведь не только горькая шутка о нравах давнего восемнадцатого века! Для Кавказа, для этой райской земли, — пророчество на все времена. Кто только и в каком чужедальнем краю снова и снова не включает его в сферу своих “жизненно важных интересов”.

Здесьним населенникам “Путеводитель”, как называют адыги Полярную звезду, помогает найти путь к дому или путь к другу... Для чуженина она так и остается холодным ориентиром на разбойной дороге. О том, куда она на Северном Кавказе приводит, и повествует роман “Страшен путь на Ошхомахо”.

Выходит, книга — на все времена?

Недавно в письме к знаменитой не только в наших краях Лейле Бекизовой, хорошо знающей литературный Кавказ, у меня вдруг вырвалось и для себя неожиданное: после долгой и радостной работы над “Железным Волком” во мне проснулся черкес, которому теперь некуда деться. Оказывается, мол, и такое с нами бывает!

Не оттого ли в Нальчике пришло ко мне и ощущение родного дома, и — ощущение родства? Тем более что я знал: в этом городе ждет меня мой старый товарищ, верный идеалам нашей далекой юности.

1 Война длиною в жизнь: Сборник рассказов северокавказских писателей (составитель и автор вступительной статьи Немченко Г.Л.). — М.: Фолио, 2007.

2 Древнее название Эльбруса.